Учитель Начальной



Второе солнце

Учитель Начальной

Второе солнце

«Автор»
2026

Начальной У. Ш.

Второе солнце / У. Ш. Начальной — «Автор», 2026

В приморском городке Институт продолжения жизни дарит людям шанс: здесь выращивают органы, возвращают вымершие виды, а в исключительных случаях создают «повторного» человека. Для Матвея и Веры «повторный» сын — последняя надежда пережить гибель Артёма. Но мальчик, которого они забирают домой, твёрдо заявляет: «Я не Артём». Так начинается путь семьи к непростому принятию: их новый сын Ян — не копия погибшего, а продолжение, выросшее из любви, памяти и права быть собой. Через «садовые суды», моральные дилеммы и тихий труд в саду герои учатся не цепляться за прошлое, а давать ему новую форму. Праздник садов становится моментом истины: Ян сажает гибридное дерево — символ собственной судьбы, а письмо Артёма освобождает его от груза чужого образа. Когда на пороге появляется Лия — ещё одна «повторная», ищущая место в мире, — семья без колебаний распахивает калитку: в их саду хватит места для всех, кто хочет расти.

© Начальной У. Ш., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Черенки 5
Глава 2. Гость из зеркала 9
Глава 3. Сад Марии 13
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Учитель Начальной
Второе солнце

Глава 1. Черенки

Письмо пришло в четверг, с первой почтой, когда туман над морем ещё не разошёлся и белые крыши городка стояли в нём, как лежащие на дне корабли. Матвей Лозовой вышел на крыльцо за газетой, увидел на ящике длинный конверт с гербовой печатью — синей, аккуратной, похожей на каплю неба — и на секунду закрыл глаза.

Он знал, что письмо придёт. Он подписал бумаги восемь месяцев назад, и с тех пор каждый четверг выходил на крыльцо чуть раньше обычного. Искал конверт и надеялся, что его не будет.

Теперь он был здесь.

Матвей постоял, держа конверт двумя пальцами, как держат горячую кастрюлю, потом распечатал его прямо на крыльце, не заходя в дом. Бумага пахла типографской краской и чем-то ещё — может быть, озоном, может быть, тем самим Институтом, который стоял на мысу за бухтой, белый, стеклянный, похожий на теплицу, выросшую однажды слишком много света.

«Уважаемый Матвей Сергеевич, — писал кто-то с красивым почерком. — Сообщаем Вам, что процедура завершена успешно. Ваш повторный сын находится в удовлетворительном состоянии, развитие соответствует возрастной норме. Объект готов к передаче в семью. Дата и время получения: в субботу, девять ноль-ноль. Просим Вас заранее определить имя, которое будет носить ребёнок».

«Объект», — подумал Матвей. «Ребёнок». Одно слово холодное, другое тёплое, и оба про одного.

Он сложил письмо и долго смотрел на туман. Потом позвал:

— Вера.

Жена вышла сразу — как будто стояла за дверью и ждала. Волосы она повязала полотенцем, руки были в муке. Она не спросила, что случилось. Она посмотрела на конверт, потом на лицо мужа и тихо сказала:

— Ну вот.

И в этих двух словах было всё: и горе, которое они прожили два года, и надежда, за которую обоим было стыдно, и страх, который они не называли вслух, потому что названный страх имеет привычку расцветать.

— В субботу, — сказал Матвей.

— В субботу, — повторила Вера и вытерла руки о фартук. — Значит, сегодня надо вымыть его комнату.

Она всегда так: любое великое и страшное событие переводит в хозяйство. Вымыть комнату. Сварить суп. Купить новую зубную щётку — синюю, потому что Артём любил синий. Матвей чуть не поправил её — «не покупай синюю, он не Артём» — и вовремя прикусил язык. Язык прикусывать было легко. Сердце — нет.

Всю оставшуюся жизнь до субботы — два дня, которые оказались длиннее, чем два года, — Матвей провёл в теплице.

Теплица была его убежищем и его исповедальней. Стеклянный дом на задах участка, собранный ещё отцом, с облупленной белой рамой и трубой, которая в холодные ночи гудела, как старый кит. Здесь Матвей выращивал то, что умел выращивать лучше всего на свете: черенки.

Он и был когда-то биологом. Двадцать лет проработал в институте селекции на материке, а когда у Артёма родилась болезнь, а потом случилась беда, вернулся в родной городок и поменял лабораторию на сад. Люди говорили: сгорел. Матвей так не думал. Просто он понял однажды, что секатор — самый честный инструмент на свете. Ты режешь — и знаешь, что режешь. Ты прививаешь — и знаешь, что прививаешь. Никаких слов, за которыми можно спрятаться.

Он работал с яблоней-дичком, которую присмотрел на пустыре за городом. Дерево было старое, кривое, растрескавшееся — но живое, живучее, с корнями, вросшими в скалу. В пятницу утром Матвей принёс черенок — тонкую веточку новой породы, спасённую из питомника, где её должны были списать, — и начал работу.

Сначала — срез. Нож шёл легко, срез вышел ровный, светло-зелёный, с влажным блеском. Потом — расщеп на подвое: лезвие вошло в старое дерево, и трещина раскрылась, как раскрытую книгу открывают посередине. Матвей заглянул в этот расщеп. Внутри было светло и сыро — так выглядит жизнь, если у неё есть внутренность.

— Прости, — сказал он дереву. — Это на пользу. Правда.

Дерево, разумеется, не отвечало. Но старые деревья вообще-то отвечают — просто медленнее, чем люди успевают слушать.

Черенок он вложил в расщеп, камбий к камбию, слой живого к слою живого. Обмотал лентой. Замазал варом. Всё это он делал тысячи раз, но сегодня руки чуть дрожали, и он поймал себя на мысли, что разговаривает с веточкой, как с мальчиком.

— Будешь не ты, — прошептал он. — И будешь ты. Ты поймёшь?

Черенок был молчалив. Все черенки молчаливы — и все-таки через месяц они срастаются, и по саду идёт дерево, которого раньше не было: со старым стволом и новым сердцем.

Матвей выпрямился, размял спину и вдруг ясно вспомнил Артёма — как тот, лет шести, стоял здесь же, в теплице, на маленькой скамеечке, и смотрел, как отец срезает почку.

— Пап, — сказал тогда Артём, — а ему больно?

— Дереву? Нет, сынок. Дереву не больно. Дереву интересно.

— А чего ему интересно?

— Оно получает нового себя. Ну как нового… — Матвей тогда замялся, подбирая слова для шестилетнего. — Понимаешь, оно не теряет себя. Оно становится больше, чем было.

— Как я, когда я ем кашу?

Матвей засмеялся, а потом долго думал об этом вечером, стоя у окна. Дети иногда говорят такое, чего не смогут сказать их родители, сколько бы за плечами у тех ни было лет и дипломов.

Артём погиб два года назад, в марте, на воде, до льда, до срока, до всего. Матвей не умел об этом говорить, и потому этот факт жил в доме, как гость, с которым никто не здоровается. Вера время от времени всё-таки здоровалась — доставала телефон, включала старое видео, где Артём, с## в мандариновом соке, объясняет ей правила игры, придуманной им самим. Матвей уходил из комнаты, когда она включала. Вера знала, что он уходит, и прощала ему это. Каждый прощал другому то, чего не мог простить себе.

В субботу они выехали в семь утра. Небо было высокое, вычищенное, ноябрьское — такое небо бывает только в приморских городках, когда ветер за ночь выметает из него всё лишнее.

Ехали молча. Вера сидела рядом, держа на коленях маленький рюкзак — они купили его накануне, средний размер, с молниями, безо всяких мультиков. Внутри лежали зубная щётка (синяя — Вера всё-таки купила синюю, и Матвей промолчал), тетрадь в клетку, три карандаша и свитер с оленями.

На выезде из городка, у старого шлагбаума, Вера вдруг достала телефон.

— Можно? — спросила она тихо.

— Можно, — сказал Матвей, хотя знал, что можно спрашивать не «можно ли», а «зачем».

— Он не испугается, — сказала Вера. — Когда откроет глаза. Когда мы его повезём. Он же маленький… он будет в машине, в незнакомой машине… Пусть хоть голос знакомый будет.

Она нажала на запись. Из телефона хрустально, с сурдинкой, полился голос Артёма — тот самый, мандариновый:

— Мам, у меня арифметика на пятёрку. Ну почти. Я тебе потом всё объясню, ты только не перебивай…

Вера смотрела на дорогу. Матвей смотрел на дорогу. Ветровое стекло дрожало от ветра, море слева мелькало между дюнами — то показываясь, то прячась, как стеснительный ребёнок.

Матвей хотел сказать: «Он не узнает этот голос. В нём нет ни одной клетки этой записи». Но потом подумал про теплицу, про черенок, вложенный в расщеп, и не сказал ничего. Может быть, голос — это тоже черенок. Может быть, любовь пересаживается не клетками. Может быть, она вообще пересаживается как-то иначе, минуя всякую биологию, — и в этом весь её смысл.

— Он будет жить, — вслух сказала Вера, будто заканчивая длинный внутренний монолог. — Он будет жить, Матвей. Пусть не так. Пусть по-другому. Но он будет жить, и у него будет дом.

— Да, — сказал Матвей.

— Ты меня не осуждаешь?

— Я себя осуждаю. А тебя — нет. Ты сильнее меня. Это очень скучно и очень приятно признавать.

Вера коротко, сквозь силу, засмеялась — и от этого смеха в машине сразу потеплело, как будто включили печку.

Институт продолжения жизни стоял на мысу и сиял. Белые стены, стеклянные галереи, у входа — клумба с цветами, которых в ноябре не бывает: выведенные, бессезонные, изумрудно-яркие. Они цвели назло календарю, и Матвей всякий раз, глядя на них, чувствовал странное — восхищение пополам с затаённой тревогой. Восемь лет он занимался селекцией и хорошо знал: всё, что цветёт назло календарю, рано или поздно предъявляет счёт. Не обязательно злой. Просто счёт.

У дверей их встретила женщина в белом — средняя между врачом и стюардессой, — вела по светлым коридорам, говорила бодрым голосом о «курсах адаптации» и «рекомендациях по первым месяцам». Матвей слушал вполуха. Внутри него гудела тишина.

Их подвели к смотровой, где стоял мальчик.

Он сидел на низком стуле у окна и смотрел на море. Рост — как у Артёма в этом возрасте. Тонкие запястья — как у Артёма. Волосы, отросшие за восемь месяцев и потому непослушные, падали на лоб. Он услышал шаги, обернулся.

И Матвей понял, что сейчас произойдёт что-то важное, потому что сердце его не сжалось, а, наоборот, разжалось — как разжались бы объятия.

— Здравствуй, — сказал Матвей.

Мальчик посмотрел на него внимательно, чуть наклонив голову — так смотрят не на отца, а на человека, о котором много слышали. Потом перевёл взгляд на Веру, на её покрасневшие глаза. И сказал — спокойно, без запинки, как говорят вещи, которые уже давно для себя сформулировал:

— Папа, я не Артём. Артём умер.

Вера вздрогнула. Медсестра в белом открыла рот, чтобы вмешаться, — и не успела.

— Меня зовут… — мальчик наморщил лоб, и это движение было точь-в-точь артёмовским, и от этого следующие его слова стали только сильнее, — впрочем, я ещё не решил.

Матвей опустился перед ним на корточки. Так он опускался перед Артёмом тысячи раз — c-band-пломбой, с мандарином, с книжкой про корабли. Теперь он опустился перед

чужим-своим мальчиком и заглянул ему в глаза. Глаза были те самые, серо-зелёные, с жёлтыми искрами у зрачка. И при этом — совершенно, до последней искорки, не те.

— Хорошо, — сказал Матвей. Голос не дрогнул, и он сам себе за это удивился. — Не решено — так не решено. Будешь думать. Дом большой, есть где подумать.

— А если я надумаю никогда?

— Значит, никогда. Имя — не автобус. Не уедет без тебя.

Мальчик помолчал. Потом спросил — осторожно, как идут по тонкому льду:

— А вы меня… будете звать им? Тем?

— Буду звать тебя, — сказал Матвей. — Так, как ты сам скажешь. А если не скажешь — буду звать «эй, малой, иди есть суп».

Уголок рта мальчика дрогнул. Это было почти улыбкой — первая улыбка, которой не было ни в одной записи, ни на одной фотографии, ни в одном воспоминании. Никто никогда не видел этой улыбки. Она была новая. Она была его собственная.

— Меня так мама называла, — тихо сказала Вера. — «Эй, малой». Она тоже так пошутила бы.

— Значит, у меня хорошие родные, — сказал мальчик, как человек, делающий серьёзный и окончательный вывод.

Он взял рюкзак с оленями, примерил его на плечи, подышал и сказал:

— Пойдёмте. Я тут восемь месяцев. Мне очень нужно увидеть дом. Настоящий. Не из рассказов.

— А что тебе рассказывали? — спросил Матвей, открывая перед ним дверь.

— Что там растёт сад, — сказал мальчик, шагая в коридор. — И что в теплице живёт дерево, которое умеет отвечать.

Матвей на ходу посмотрел на Веру. Вера на него. О теплице им не рассказывал никто.

Снаружи, за стеклянной дверью, шумел ветер, и море, наконец показавшись из-за дюн, лежало до самого горизонта — большое, распахнутое, новенькое, будто мир только что приготовили и подали.

Они шли к машине втроём — и это было начало чего-то, чему ещё не придумали имени.

Глава 2. Гость из зеркала

Дом встретил их запахом свежевымытых полов и супа, который Вера варила всю дорогу в голове. Мальчик вошёл первым — без приглашения, как входит тот, кто не гость, — постоял в прихожей, снял новые ботинки, аккуратно, пятка к пятке, и сказал:

— Потолок здесь ниже, чем я представлял.

— А каким ты его представлял? — спросил Матвей, снимая куртку.

— Высоким. И с люстрой в виде самолёта.

— Люстру в виде самолёта хотел Артём, — сказал Матвей и сам не заметил, как это вышло: легко, без язвы, как будто произнёс погоду.

Мальчик кивнул, не удивившись.

— Ну да. Мне много про него рассказывали. — Он поднял голову и посмотрел на верхний свет. — А потолок нормальный. Хорошо, что ниже. Выше — только страшнее, если падать.

Так он говорил все первые дни: короткими, неожиданно взрослыми выводами, будто заново проходил мир, который раньше знал наизусть, и сверял свои показания с оригиналом.

Имя он выбрал на четвёртый день, за завтраком.

— Ян, — сказал он, кладя ложку. — Ян. Я решил. Долго думал.

— Красивое, — сказала Вера, и голос у неё дрогнул на середине слова: она явно примерила это имя к другому, которого не было и уже не могло быть.

— Почему Ян? — спросил Матвей.

Мальчик пожал плечами — по-артёмовски, одним плечом, и сам, кажется, заметил, как это вышло, потому что на секунду смутился.

— Понравилось. Короткое. Если зовут — слышно сразу. Артём длиннее: пока позовёшь, уже уйдёшь.

Так в доме появилось имя, а с ним — и человек. Не «объект», не «повторный», не «мальчик». Ян.

Собака обнаружилась на пятый день, и с этого дня начались первые настоящие неприятности.

Рысь — старый рыжий пёс с белой отметиной на груди — жил у Лозовых девять лет. Артём вырос под ним, спал с ним в обнимку, кормил его из рук и однажды, в четыре года, торжественно объявил, что Рысь — его брат, только лохматый. Пёс постарел, ходил медленно, но по-прежнему встречал у калитки каждого из семьи, как будто пересчитывал: все, все на месте.

Теперь он пересчитывал лишнего.

Он подошёл к Яну на своих стариковских лапах, ткнулся мордой в ладонь, заглянул в глаза — и Ян вскрикнул. Не испугался даже — вскрикнул так, как кричат, когда что-то внутри не сходится: пёс лез к нему с такой ласковой, такой конкретной любовью, что все швы внутри мальчика разом натянулись.

— Он не укусит, — торопливо сказал Матвей. — Он добрый. Он лучший пёс на свете.

— Я знаю, — прошептал Ян, пятясь. — Мне про него рассказывали. Я знаю, что он спал у Артёма в кровати. Я знаю всё это, пап. Это не помогает.

Матвей хотел увести пса, но Ян вдруг остановился, сам взял себя за руку — буквально: одной рукой схватил другую — и медленно, с достоинством человека, переходящего границу, протянул ладонь. Рысь лизнул её. Ян просидел так с минуту, не дыша.

— Ладно, — сказал он потом очень серьёзно. — Мы знакомы. Но пусть он понимает: я не тот, кому он спал в кровати. Пусть любит меня заново. С чистого листа.

— А если он не умеет с чистого листа? — тихо спросила Вера.

— Научится, — сказал Ян. — Мы все научимся.

Но ночь он попросил закрыть дверь в свою комнату — впервые. Чтобы Рысь не пришёл. И Матвей, стоя в коридоре перед закрытой дверью, почувствовал, как внутри у него, где-то под сердцем, шевельнулось то самое, что он не хотел называть.

Он боится собаки, которую любил Артём. Он не тот. Он не тот.

И вместе с этим — шёпот, тихий, предательский: а нельзя ли его сделать…

Хуже всего были не собственные чувства. Хуже всего было, как воевали эти чувства с реальностью.

Ян рисовал. Это открылось в первый же вечер: он нашёл на столе бумагу и карандаши и рисовал корабли. Корабли, как у Артёма. Тот же разворот паруса, тот же флажок с той же косой мачтой, та же манера подписывать в углу «плыву в Африку». Матвей стоял над столом и физически чувствовал, как у него теплеет грудь: попалось, попалось, всё-таки он, он, тот же мальчик, тот же карандаш…

А наутро Ян нарисовал так же — и подписал: «плыву на север».

— Почему на север? — спросил Матвей, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.

— Потому что Африка жаркая, — ответил Ян, не поднимая головы. — А я люблю, когда холодно и можно дышать. Артём любил Африку — я читал его книжки. А я не люблю. Я их, между прочим, все прочитал. Хорошие книжки. Но это как чужие письма. Прочёл — и поставить некуда.

— Поставь на полку, — сказал Матвей. — Полка одна на всех.

— Полка-то одна, — согласился Ян. — А тот, кто стоит перед ней, другой.

Он любил, то есть не любил, всё наоборот. Артём не выносил лук — Ян просил добавки. Артём любил качели до головокружения — Ян на качелях заскучал и убежал ловить ящериц, которых Артём побоялся бы тронуть. Артём спал с закрытой дверью — Ян спал с открытой и просил, чтобы в доме не выключали свет на кухне: «чтобы было видно, что вы есть».

И всё это было бы легко, если бы не вплеталось в то же самое. Тот же смех — с той же хрипотой на высокой ноте. Те же брови, поднимающиеся правой раньше левой. Та же привычка прятать последнюю конфету в карман куртки «на потом», о которой он не мог знать — она была нигде не записана.

Матвей смотрел на эти совпадения и расхождения, как смотрят на два отражения в двух зеркалах: вроде бы одно и то же лицо, а поверни — и всё по-другому.

И однажды, гребя грядку в теплице, он услышал в себе голос, тихий и ясный, как нож по дереву: надо было взять ещё. Надо было попросить их повторить точнее. Там же есть технологии… попросить сделать так, чтобы любил Африку, чтобы спал с собакой, чтобы…

Он выпрямился с грядки так резко, что хрустнула спина.

Он хотел подправить ребёнка. Достроить его. Отредактировать живого человека, как черновик, — чтобы строчки совпали с memory прежнего.

— Господи, — сказал вслух Матвей и сел на перевёрнутое ведро.

Он, биолог, селекционер, человек, всю жизнь говоривший с растениями на «ты», поймал себя на том, что хотел сделать с живым ребёнком то, чего не сделал бы ни с одним деревом на свете: силой вогнать его в чужой расщеп и обмотать лентой, чтобы срастался по чужой мерке.

За дверью теплицы слышалось, как Ян во дворе учит Рыся команде «сидеть» — терпеливо, по слогам, по-новому, не по-артёмовски, потому что Артём учил его иначе.

— Хорошо, — сказал Матвей псу сквозь стенку. — Учите его заново, парень. Оба мы учимся заново.

Соседи отыграли свою часть первой недели.

Дед Глеб из дома напротив,adero коловший у забора дрова, выпрямился, увидев Яна, и сказал:

— Здорово, Артём! Подрос, однако. Погиб — подрос. В наше время такого не было.

— Меня зовут Ян, — сказал мальчик вежливо.

— А, ну да, ну да, — согласился дед Глеб с видом человека, идущего на разумные уступки. — Ян. Оно и лучше. Артём-то мой сосед был, а Ян — так, человек новый. Привыкну.

И пошёл колоть дальше, и, кажется, искренне считал, что всё решил.

Бабушки через забор решали иначе. Вечером Матвей, выводя Рыся на двор, услышал за дощатой оградой два шёпота, старательно притворяющиеся шёпотом:

— …это он, самое это. Лицо-то чьё?

— Да что ты, Глафира. Это у них новый. Из Института. Другой мальчик.

— Другой? А лицо?

— Ну лицо… Гены, милая. Не ты ли мне про гены рассказывала?

— Гены — это одно, а человек — это другое. Куда же без человека.

— Так я про то и говорю: с лицом — это он, а без человека — новый.

— То есть это он, который не он?

— Именно это я и говорю. Ты меня отлично поняла.

Матвей стоял у калитки, держа поводок, и не знал, смеяться ему или идти разбираться. Рысь безмятежно нюхал столб. И Матвей вдруг подумал, что бабушки, сами того не зная, сформулировали вопрос, над которым теперь работали лучшие умы Института за мысом, — только у бабушек это выходило дешевле и честнее.

Он, который не он. Она, которая не она. Мы все, которые — не совсем мы.

— Папа, — сказал Ян, выглянув из окна, — я всё слышал.

— И что?

— Они не плохие, — сказал Ян серьёзно. — Они как я. Тоже решают, кто я. Только я решаю быстрее, потому что у меня преимущество: я — это я, а они — нет.

И захлопал окно, и побежал что-то мастерить, потому что у него всегда было дело, — а Матвей остался у калитки думать, что мудрость в этом городке расселена очень неровно: какая-то часть её живёт в Институте, какая-то — за дощатым забором, а самая большая часть — в мальчике, которому восемь лет.

А на исходе второй недели случилось то, чего не должен был увидеть никто.

Матвей вернулся из города с покупками и, входя, услышал наверху, в бывшей комнате Артёма — теперь комнате Яна, — какой-то странный, сосредоточенный шорох. Он поднялся, заглянул — но мальчика там уже не было. Была приоткрытая коробка из чулана, которую он вытащил на середину, — старая, картонная, перевязанная бечёвкой, — и на столе, у окна, открытая тетрадь в клетку.

Матвей узнал её мгновенно. Дневник Артёма. Вера хранила его в чулане, на верхней полке, вместе с другим — тем, что нельзя выбросить и нельзя смотреть.

Он подошёл к тетради. Она была раскрыта не на первой странице. Она была раскрыта на последней.

Две строчки, выведенные крупным, старательным почерком, с ошибкой в первом слове, — Артём всегда путал «жы» и «шы»:

«Жыл на свете мальчик Артём. Если кто-то будет меня повторять — пусть он НЕ читает эту страницу».

Ниже, помоложе, другой рукой — Верины карандашные пометки поверх её же пометок, затёртые, поверх них новые. Разобрать можно было только одно слово: «нельзя…»

Матвей стоял, не шевелясь. За окном кричали чайки. Внизу гремела посуда: Вера готовила ужин и звала Яна есть, и Ян отвечал из сада, что идёт, идёт, только руки помоет.

Ребёнок нашёл дневник. Ребёнок прочитал последнюю страницу. Страницу, на которой его — прямо его, по имени не названного, но его — просили не читать.

И теперь дневник лежал раскрытым на столе, а коробка стояла на виду — не спрятанная обратно. Не спрятанная.

Матвей осторожно, двумя пальцами, закрыл тетрадь. Положил её в коробку. Завязал бечёвку тем же узлом, каким она была завязана. Убрал коробку в чулан — но не на верхнюю полку, а на нижнюю. На уровень детских рук. Не спрятать — сделать доступным: так он решил, так он понял то, что увидел.

Вечером за ужином Ян ел суп с луком — добавки просил дважды — и был тих и задумчив, как бывает задумчив взрослый, принявший решение, о котором пока молчит.

— Ты что-то нашёл сегодня? — как бы между прочим спросил Матвей.

Ян поднял на него глаза — серо-зелёные, с жёлтыми искрами — и сказал ровно:

— Нет. Ничего. Я ничего не находил.

И вернулся к супу.

И только когда он отнес тарелку в раковину и вышел во двор к Рысю, Матвей увидел, как мальчик, проходя мимо чулана, на полсекунды замедлил шаг — и как его рука, сама, без ведома хозяина, коснулась дверцы. Легонько. Так касаются раны, которую нельзя трогать, но нужно помечать.

«Пусть он НЕ читает эту страницу», — подумал Матвей.

А мальчик уже читал. И что-то решил. И спрятал — не дневник.

Себя — на время. До утра. До какого-то своего срока, о котором знал только он.

Матвей доел суп. За окном садилось солнце — огромное, приморское, наливное, — и свет его ложился на воду не повторяясь: каждая волна несла свой собственный маленький закат, и двух одинаковых не было на всём море.

Глава 3. Сад Марии

Наутро после супа с луком Ян вышел во двор раньше всех и объявил, что нашёл работу.

— Какую работу? — спросил Матвей, спускаясь в кухню в спутанном свитере.

— Нужную. — Ян разливал по тарелкам молоко — как будто жил тут годами, а не две недели. — Бабушек слушал. Через забор. В конце улицы есть заброшенный сад, где живёт старая Мария Сигизмундовна. Она приходит туда по вторникам и пятницам и разговаривает с деревьями. Мне сказали: она хорошая, но строгая. И что её сад никто не косит, потому что она не разрешает. А она старая, ей тяжело. Я хочу подметать у неё дорожки.

— Так… — сказал Матвей. — А как ты узнал, что тебе туда можно?

— Ещё не узнал, — честно сказал Ян. — Узнаю сегодня. По дороге.

Он взял метлу — бабину, старую, из берёзовых прутьев, — закинул на плечо, как ружьё, и вышел. Рысь, посовещавшись с хвостом, побежал следом: пёс быстро понял, что новый человек ходит по интересным маршрутам.

Матвей смотрел в окно, как мальчик, не оглядываясь, идёт вдоль заборов, и думал, что у Яна это выходит очень похоже на то, как выходило у Артёма: сначала делает, потом объясняет. А объяснение всегда готово. И всегда неожиданное.

Он успел допить кофе и не успел помыть чашку, когда Ян вернулся.

— Она сказала «приходи», — сообщил Ян с порога. — Но сначала долго смотрела на меня. Потом сказала: «Ну наконец хоть кто-то с руками». Потом спросила: «Ты который из них?» А я сказал: «Я Ян. Артём умер». Она кивнула и сказала: «Верно. Он, когда жил, тоже никогда не спрашивал разрешения». И дала мне метлу, только маленькую, свою, детскую.

— Откуда у неё детская метла?

— Она сказала: от дочки. И ушёл от темы, — Ян отрезал хлеб, намазал мёдом, подумал и намазал ещё. — Пап, а у неё дочка была?

— Была, — сказал Матвей. — Давно. Ты её в саду спрашивал?

— Я не спрашивал, — сказал Ян. — Я слышал, как она говорила. С деревьями. Она называет их по именам. Одна — Полина. Я спросил, какая из них Полина, и она показала на самую кривую. Кривая — она, видишь ли, потому что она за дочку. Ей тяжело стоять прямо, а она стоит.

Матвей медленно опустился на стул.

Кривая яблоня за дочкой. Он уже знал про Марию Сигизмундовну всё, что знал весь городок: старушка с горкой, живёт одна, полстолетия в том же доме, никуда не выезжает, на общие праздники не ходит, а по вторникам и пятницам — в сад. В закрытый, заброшенный, поросший по пояс крапивой сад на отшибе, куда владельцем был когда-то её муж, а теперь, после его смерти, — никто, кроме неё.

Люди в городке о Марии говорили с уважением и на всякий случай — тихо. Так говорят о тех, в чью историю не желают вникать, потому что вникать больно.

— Я пойду, — сказал Матвей вслух, ещё не зная, что говорит, но уже зная, что идёт.

— Сегодня вторник, — согласился Ян. — Она принимает по вторникам.

Заброшенный сад начинался за последним домом улицы, там, где асфальт кончался и начиналась трава. Перекошенная калитка, ни к чему не привязанная, открывалась от толчка. За ней — заросли, малина, одичавшие яблоки, и посреди всего этого маленький расчищенный круг, как площадка в лесу, которую кто-то ухаживает, а никто не видит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.